

М-640-2.4

И. Н. ПОТАПЕНКО

81568

ЧЕЛОВЕК
из
ПРОРУБИ

ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА
МОСКВА 1924 ПЕТРОГРАД



Адрес Издательства:

Москва, Б. Дмитровка, 10. — Тел. 73-32

Адрес магазина:

Москва, Охотный ряд, 1. — Тел. 2-31-73.

V.N. Karazin Kharkiv National University



00713175

8



П-640-211. 34
БИБЛИОТЕКА „ЗЕМЛИ и ФАБРИКИ“

И. Н. ПОТАПЕНКО

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОРУБИ

(Из хроники южно-русского села)

8008
ЗАХРАН. СЕЛ.
УН. Ф. ПОКЛ. СЕЛ.



98

ПРОСМОТРЕНО
ЦЕНЗ. 4116

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
Москва 1924 Петроград

Прозвучало
ЦЕНЗ. 1802

58

1934

Тип. им. Гутенберга (аренд. П. П. Сойкин). Петроград, Стремянная, 12.
Петрооблит № 9737.

Тираж 3.000 экз.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Дьявольское наваждение.

В том месте, где среди гладкого, обнаженного поля, на высоком крутом берегу большим оазисом раскинулось село Панычево, Днепр, приближаясь к устью, разлился широкой полосой. Стоял морозный декабрьский день. Солнце щедро испускало свои яркие, холодные лучи, превращая в блестящий, играющий разноцветными огнями кристалл гладкую бесснежную поверхность Днепра.

На реке было сильное движение. Здесь собрались чуть не все панычевцы, исключая самых немощных стариков, старух да грудных младенцев. В воздухе стоял шум и гам от сотни здоровых, звонких голосов.

По средней линии реки степенно двигались два ряда рыбалок, прикрепивши свои лямки к канату, два конца которого выходили из огромной проруби. Края этой проруби, как края переполненной чаши, были окаймлены водой, которая разлилась по льду сажени на три кругом.

По одной из тропинок скалистого берега робко спускалась к реке маленькая темная фигурка, на которую никто не обратил внимания. Дойдя до реки, она остановилась и, повидимому, не решалась двигаться дальше. С виду — это был мальчик, потому что на нем были узкие штанишки, обтянутые внизу какими-то тряпками, которые, вместо башмаков, окутывали ступни ног. Голова его была повязана грязным платком, поверх которого была надета фуражка военного покроя, а туловище защищалось от холода старой, изорванной женской кофтой; в рукава этой кофты он тщательно прятал свои маленькие, сильно раскрасневшиеся руки.

Он сделал два шага и очутился на льду. Повидимому, он не был знаком ни с местностью, ни с людьми, потому что смотрел робко и рассчитывал каждый шаг. Он дрожал от холода, и его сильно подмывало присоединиться к толпе ребятишек, чтобы размять члены и погреться. Но он боялся. Он издали присматривался к лицам сонно бродивших по льду баб, как бы отыскивая между ними знакомое. Вот к нему подбежала куча ребят. Он робко посторонился; его толкнули, он поскользнулся и покатился по льду; через него полетели другие; все это кружилось и шумело; и, увлеченный этим потоком, он уже кувыркался по льду, в общей куче ребят, толкая других, сам падал и с наслаждением «хлюпался» в воде близ большой проруби, довольный, что согрелся. На него никто не

обращал внимания, и дети играли с ним, не спрашивая, откуда он пришел.

Вдали на реке показались сани, запряженные доброй тройкой. Кони красиво изгибали на бок шею, звеня бубенчиками и испуская густой пар.

Сани с разгону остановились, и из них вышли два молодца в волчьих шубах, в высоких сапогах с подковками. У них были здоровые, красные лица и русые бороды. Это были откупщики.

— Ну, сколько за-глаза? — спросил один из них у рыбалок.

Начался торг. Откупщики давали сотню, да при том хотели отбить себе и мелкоту, а бабам оставляли только раков. Но «атаман» на это никак не мог согласиться. Бабы самого его съедят вместо рыбы, если он это сделает. Это уж так исстари ведется, что бабам идет мелкая рыба. Наконец, сошлись на ста двадцати рублях с ведерком. Ударили по рукам, и «атаман» получил половину условленной платы.

Вот уже из большой проруби стали показываться верхушки невода. Кругом все стихло. Все с нетерпением ожидали результата. Показалась «матня», полная рыбы, между которой было довольно и судака, и леща, и карпа, и всякой всячины. Все это вываливалось на лед несколько в стороне от проруби, и из огромной кучи стали отбирать долю откупщиков. Потом напустили баб на оставшуюся мелкоту. Произшла давка.

— Держи! Спасай! Кара-ул!—вдруг раздалось среди этой свалки, и все в одно мгновение оглянулись в ту сторону, где была прорубь. Рыбалки кинулись туда с канатами и шестами. Толпа обступила прорубь.

— Запускай-ай! Тащи-и! Канат! Эй, кто там?!—орали со всех сторон.—Хлопчентя, а может и дивчинка, кто его знает! Ишь, барахтается!

В проруби действительно барахталось и боролось со смертью маленькое существо. Трудно было определить его пол; да и не до того было. Оно изо всех сил глупо и совсем нецелесообразно размахивало ручонками, опускалось и вновь подымалось, чтобы опять погрузиться.

Напрасно к нему протягивали шесты и забрасывали канаты; оно не понимало, в чем дело, и не знало, за что ухватиться. Вся беда была в том, что никто не решался подойти к самой проруби, из боязни попасть в нее. Но вот маленькое существо видимо ослабевает. Оно уже не машет ручонками, только голова его делает страшное усилие остаться на поверхности, но туловище гнет книзу—и вот уже, кажется, нет надежды. В это время молодой, безусый парень, с веселым, счастливым лицом, порывисто сбрасывает с себя кожух и, крепко ухвативши зубами конец каната, с разгону кидается в прорубь. Несколько секунд не видно ни его, ни маленького существа. Толпа замерла в тяжелом, мучительном молчании; где-то вырвался вздох; многие крестятся

и шепчут молитву: «господи, две души христианские...» Все ждут, а рыбалки тихонько подтягивают кверху канат, конец которого остался в зубах у парня. Появляется голова, плечи, и парень выбрасывает на лед недвижимое, полуокоченевшее существо. Его самого сейчас же вытаскивают. Вырывается общий крик неистового восторга: «Яков! Яков! Яшка! Ай да Яшка!» Повсюду прославляется имя парня.

Маленькое существо пролежало с минуту на льду без малейшего движения, пока вытаскивали парня. Потом кто-то поднял его на руки:

— Эй, бабы! у кого платок побольше?

Какая-то баба сняла с головы платок. Маленькое существо положили на платок и принялись откачивать. Качали с такой энергией, что оно взлетало на воздух, но это не помогло.

— Три! Что есть силы три!

Тогда началась терка. Ему терли уши и виски, и затылок, и щеки, и лоб. Не помогало. Маленькое существо не обнаруживало никаких признаков жизни.

Так как маленькое существо отказывалось жить, а панычевцы хотели во что бы то ни стало настоять на своем, то было решено употребить последнее и самое отчаянное усилие. Постарались разнять его сильно стиснутые челюсти и вновь стали качать. На этот раз были приложены все силы; качали с каким-то остервенением, всякий старался ухватиться за угол платка, как бы рассчитывая общими уси-

лиями—«миром»—победить смерть. Кто-то заметил, что этак и мертвого откачать можно.

— Дышит!—промолвило несколько голосов разом, и работа остановилась.

Действительно, смерть была побеждена. Всех охватил восторг, как будто это бедное, хилое, оборванное существо принадлежало всем панычевцам или было гордостью всего села. Оно дышало и даже взмахнуло рукой. Тогда стали присматриваться к нему. До сих пор все видели перед собой только погибающую человеческую жизнь и необходимость спасти эту жизнь во что бы то ни стало. А его никто не видел. Что за странное существо! Голова окутана изодранным платком (шапка военного покроя валялась в стороне); неуклюжая женская кофта с изодранной подкладкой, из-под которой торчат клочья грязной ваты. На ногах, вместо сапог, какие-то тряпки. Лицо худое, костлявое, почти бескровное. Губы посинели от холода и дрожат, и весь он вздрагивает, словно его мучит бес. Все присматривались и все были поражены. Никто не знал его, в Панычеве такого не было, и все видели его в первый раз. Откуда же взялось это существо? как попало сюда? и как очутилось в проруби?..

— Чье оно?..—спрашивали изумленные панычевцы друг у друга, и никто не мог ответить на этот вопрос.

— Господи! Да уж не наваждение ли это?

— Приблудное какое-то! — старались объяснить

бабы:—шло, шло себе куда-нибудь, может из города, либо с хутора какого, и заблудилось! И какое чудное на вид! Должно быть, сирота!

— Теперь его надобно на печку первым долгом,—сказал кто-то.

— Эге! Первым долгом на печку! — согласились все:—чтоб его хорошенько проняло жаром! Наскрозь чтоб!

И все стояли над ним, оставляя открытым вопрос кто же возьмет его в свою хату и положит на печку? Никто из присутствующих еще не ощущал в груди своей такого желания. У того у самого семья была велика, другой боялся, что это—дьявольское наваждение, которое принесет дому несчастье.

— Я думаю, горчишник бы ему поставить! Это тоже горячит!—продолжали советовать.

— Горилки бы влить ему столбуху! Вот это действительно горячит!.. Это я по себе знаю!

А «дьявольское наваждение» все лежало на платке, который растянули на воздухе четыре мужика. Оно уже раскрыло глаза, но ничего еще не понимало. Ему было страшно и хотелось плакать, но, оно и этого не смело сделать. А холод между тем пронизывал его, и оно дрожало всем телом.

— Жинка! чи у нас печка растоплена?—спросил у бабы сухощавый приземистый мужик, в старом полушубке, с множеством свежих заплат.

— С утра растоплена!—отвечала баба, утверди-

тельно кивая головой, потому что угадывала мысль мужа.

— Так бери его в охапку!—сказал мужик:—пускай греется!

Жинка взяла «дьявольское наваждение», тщательно завернула его в платок, на котором оно лежало, и понесла к берегу.

— Эх! добрая душа у тебя, Ерема! За это тебе на том свете хорошо будет!—чрезвычайно серьезно и с большим чувством говорили мужики и бабы. Ерема посмотрел на них довольно холодно и не сказал ни слова, а только подумал: «каково-то вам будет на том свете?»

— А у самого шесть душ голышей! И куда только он его денет,—сочувственно говорили бабы!—Вот душа-то!

— Одно к одному! Беднота к бедноте!—замечали другие.—Так уж видно господь захотел!

Откупщики наградили Ерему двумя лещами. Великодушный парень Яшка за свой подвиг получил судака. Он теперь грелся, плотно завернувшись в кожух и делая по льду отчаянные прыжки. От него сильно доставалось девкам. Парни ушли домой. Раздача рыбы кончилась. Рыбалки гурьбой отправились в кабак распивать откупщицкое ведро да своих два. Публика расходилась, повторяя с недоумением:

— И откуда оно взялось, господи ты боже мой?! Точно из воды, из-под коры ледяной вынырнуло!.. Чудо, как есть—чудо!..

II.

Чудо разъясняется.

«Приблудный», между тем, лежал уже на печи. Его положили туда вместе с платком, в который он был завернут. Сначала он ничего не ощущал и лежал без мысли и без движения. Но вдруг он подскочил на месте; его сильно прижгло, печь была очень нагрета; он почувствовал боль и вместе с тем какое-то сладостное ощущение тепла.

Тогда у него явились мысли. Он огляделся кругом. Полумрак; слышится людской говор, смех и плач детей. Где он и как попал сюда? Он начинает припоминать. Вчера он вместе с другими ребяташками, такими же оборванцами, как он, бегал за экипажами при въезде в город. Они протягивали руки и жалобными голосами кричали: «Дайте копеечку! Позалейте! Есть хочется!» И когда им кидали что-нибудь, они дрались между собой, вырывая друг у друга добычу. Потом они шли к своим матерям. Его мамка жила в какой-то темной, сырой и холодной трущобе. Она посылала его просить милостыню, и когда он приносил что-нибудь, покупала немного хлеба и доставала водку. Она почти всегда была пьяна и иногда колотила его. К ней приходили какие-то солдаты, ласкали ее, а иногда и били, и она била их, а его они тогда высылали вон. Спал он вместе с мамкой, она согревала его своим телом, и ему было тепло.

В этот день мамка встала рано утром и неизвестно куда исчезла. Он ждал ее, но не дождался и захотел отыскать. Он видел, что мамка иногда ходила куда-то, по направлению реки, и сам пошел этой дорогой; но ее не встретил, а встретил село. Он никогда не видел глиняных хат с камышевыми крышами, потому что жил всегда в трущобе, близ города. Тут он увидел, что на реке много людей, и подумал: «может быть, там и мамка!» Тогда он спустился вниз и смотрел в лицо каждой бабе, но мамки между ними не было. К нему подбежали ребятишки и стали толкать его. Ему было холодно, хотелось погреться, и он стал играть с ребятишками и согрелся. Играть было весело. Он позабыл и о мамке, и о том, что с утра ничего не ел. Ему очень понравилось болтаться ногами по воде; он не заметил, где кончается лед и начинается прорубь, и вдруг оказался в реке. А больше он ничего не помнит. Теперь ему хорошо, только бы поесть чего-нибудь, потому что его мучит голод.

— А оно, должно быть, спит еще,—слышится ему женский голос.

«Кто это — «оно»?—думает он: — это, должно быть, я!»

— Ему надо оставить леща. Ты ему хвостик оставь, Горпина. Оно, должно быть, голодное. Пускай поест.

«А это верно! — думает он: — я очень голоден. Должно быть, это добрые люди».

Как бы им показать, что он не спит? Кашлянуть, сказать, вздохнуть—он боится, потому что он всего боится. Но он все-таки вздыхает...

Там же, на печке, он с наслаждением съел хвост леща, съел с костями и со всем, что у него было. Ему принесла это Горпина (так он догадывается). У Горпины маленькое лицо и сама она небольшая, так—лет десяти. Она принесла и тоненьким голоском сказала: «ешь!»

— Ну, теперь он, кажется, совсем оправился. В пору бы и с печи слезать. Печка так горяча, что он не только согрелся, а и высох, и, кажется, у него есть уже пузыри на теле. Но он не может сойти, пока его не позовут. Страшно...

— Ну, может быть, ты уже слезешь? Эй, ты, хлопче или дивчина, кто тебя знает, что ты такое!—слышится тот же женский голос.

«Эге!—думает он:—да они считают меня девочкой! Вот как!»

Он слезает с печи и довольно смело произносит:
— Я—хлопец!

Он видит перед собой пожилую женщину небольшого роста, сухощавую. Лицо у нее доброе, так что он не боится. Около нее выстроилось в ряд четверо ребят—один другого меньше, и все с любопытством смотрят на него. Один на руках женщины, совсем маленький, плачет. Около печки стоит девочка. У нее розовое личико и веселые, бегающие глазки. Он

узнал Горпину. Ну, кажется, ему нечего бояться. Смотрят ласково и не собираются бить его.

— У тебя есть батько? — спрашивает его женщина.

— Не знаю! — отвечает он.

В самом деле, он не знает, есть ли у него батько. Да он никогда и не думал об этом.

— А мамка?

— Мамка есть.

— Где же она?

— Не знаю!

— А откуда ты пришел?

— Из-под города.

— Что ж ты там делал?

— Жил!

— А как тебя зовут?

— Панас.

Женщина больше не спрашивала. — Погуляй с ребятами, — сказала она ему, но он не умел играть с ними, и они его боялись. Он сел на лавку и смотрел в окно. Когда женщина вышла из хаты, к нему под села Горпина и стала расспрашивать. Незнакомое, почему у него развязался язык, и Горпине он рассказал все, что припомнил, когда лежал на печке. Горпина сказала ему, что — он «бедный хлопец». Он просидел на лавке до вечера. В это время перед ним прошло уже много картин, каких он прежде не видел. Горпина укачивала в люльке грудного ребенка и

напевала колыбельную песенку. Вообще с Горпиной они очень сошлись. Она предложила ему развязать свои тряпки и ходить босиком. Он это сделал и нашел, что так лучше. Дети тоже бегали босиком. Мать их часто входила в хату, говорила о телятах, о каком-то квасе, который, к несчастью, перекис, а один раз пришла очень взволнованная и рассказала о поросенке, который по неопытности попал в лохань с водой и чуть было не утонул. «Точь-в-точь, как я—в проруби!» подумал Панас. Дети выбежали на двор смотреть на поросенка; ему тоже очень хотелось пойти с ними, но он не решился.

Когда стемнело и в хате зажгли «каганец», вошел Ерема.

— Э, уже ожил!—по-приятельски обратился он к мальчику.—Ну, а я думал, что тебе капут будет!

Горпина рассказала ему все, что знала про Панаса. Сели ужинать. Ерема ел «затирку» с зверским аппетитом. Панас с величайшим любопытством наблюдал, как он опрокидывал в рот ложку за ложкой, и при этом губы его издавали такой звук, будто он всякий раз обжигался. И глаза Еремы в это время как-то особенно блестели, так что по временам Панасу делалось страшно. Ерема всегда так ел. Он работал, как вол, буквально ни минуты не оставаясь в покое, и наработывал гигантский аппетит, так что во время обеда или вечера уже не разбирал, что было в миске, и истреблял все, что ни давали ему. Если бы ему по-

ложили вместо галушек кусок старой подошвы, он и то съел бы впопыхах, лишь бы только присолили хорошенько. Он любил хорошо солить. Голова у этого человека была огромных размеров и казалась еще больше от того, что сидела на длинной шее и украшала маленькое сухощавое туловище. Но, несмотря на свои большие размеры, эта голова, кажется, не много работала, предоставляя главенство мускулам. Ерема был неразговорчив, говорил отрывисто и нескладно и вообще слыл за мужика недалекого. Жинка его, Марина, играла очень видную роль в хозяйстве: она заправляла, а Ерема только выполнял то, что она находила благовременным.

— Ну, уж до завтра живи, хлопче!—сказал за ужином Ерема, что сильно поразило Панаса.

А что же завтра он будет делать? Разве его отвезут к мамке? Но там ему было гораздо хуже, чем здесь.

— Мы тебя держали бы, да у нас у самих плохо!—прибавила Марина.

Это еще больше поразило Панаса.

«Как плохо? Когда у них такая теплая хата, есть и обед, и ужин, и кожух? А вот посмотрели бы они, каково у его мамки, там, где он жил с нею!.. Тогда бы они знали, что такое—плохо... А это хорошо, очень даже хорошо». И ему пришло в голову, что мамка, может быть, и не вернулась домой, что ее где-нибудь раздавили, убили... Куда же он пойдет завтра? Да он замерзнет на дороге. И ему стало

очень страшно за завтрашний день, так страшно, что он не мог проглотить затирки, которая была у него во рту. Вдруг слезы закапали на стол.

Он испугался еще больше,—может, здесь нельзя плакать? Вообще, он несколько побаивался Еремы. С Мариной и с детьми он как-то свыкся за день, а большая голова Еремы пугала его. На его слезы, по-видимому, не обратили внимания. По крайней мере никто не утешал его. Все молчали.

— Чуешь, Ерема! Сходил бы ты до попа, може он возьмет!..—сказала Марина после ужина.

— А правда! я схожу!—ответил Ерема, вытирая рот рукавом сорочки.—Надо, чтоб взял. Не пропадать же ему. Может, мамку его где-нибудь пришибли... Ведь она—шукура!..

Последнее замечание не было новостью для Панаса. Солдаты, приходившие к его матери, часто обращались к ней с этим приветствием, и так как она никогда не обижалась, то он подумал, что это слово хорошее. Должно быть, однако, этот Ерема знает его мамку! А это было бы хорошо, если бы поп взял его к себе. Что такое поп, он, правда, не знал хорошенько; он знал только, что попы служат в церкви и хорошо живут. Это он слышал от мамки. Знал также, что они ходят в длинных платьях, потому что один раз поп дал ему копейку.

После ужина все прижились креститься. Панас не знал, следует ли и ему делать это.

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА Х.Д.У.
Інв. № 81568.



— А ты отчего не молишься?—спросила его Марина. Он молчал.

— Ты разве не умеешь?

Он умел молиться, но все-таки молчал. Он уже струсил, вообразив, что его будут бить за то, что он не молится.

— Разве мамка твоя не молится?

— Нет, я не видел,—робко отвечал Панас.

— Я же говорю, что она шура,—заметил Ерема, надевая кожух и шапку.

— А у попа ему будет хорошо... У него уж есть одна сиротка,—Сонькой прозывается. Вот они и будут вместе... У попа хлеба много,—прибавил он и пошел к попу.

Эти слова крепко засели в маленькой голове Панааса. Первое—«у попа хлеба много», второе—«сиротка Сонька».

Ерема вернулся с доброй вестью. Поп принимает к себе Панааса.

Все улеглись спать. Марина на дощатой кровати, рядом с нею Горпина, а около нее—люлька с грудным ребенком. Ерема, по праву главы, полез на печку, и Панас ему не завидовал, потому что у него до сих пор еще болел бок от обжогов. Детям разостлали среди хаты рядно, под головы положили Еремин кожух, и все они улеглись рядом—«покотом». Тут же положили и Панааса. И он, несмотря на то, что изрядно поспал на печке, в ту же минуту погрузился в сон.

III.

Панас представляется своим благодетелям.

Когда они дошли до поповского дома, из открытых ворот с лаем вылетело полдюжины огромных собак и набросились на фалды Еремина кожуха. Из двора выбежала девочка лет десяти и закричала на собак. Панас подумал, что это, должно быть, Сонька. Какое же у нее некрасивое лицо. Широкое, с большим носом, смуглое. У Горпины лицо гораздо лучше. Они вошли во двор. Во дворе, у крыльца, стоял стул, а на стуле сидел батюшка. Было тепло, и он наслаждался воздухом. Батюшка был худощав и довольно стар. Длинная борода его была почти белая. Лицо у него было бледное, постническое, но доброе и как бы вникающее, вдумчивое. На нем была черная ряса, на голове теплая меховая шапка, а в правой руке тяжелая, толстая палка из кипариса. Ерема сейчас же снял шапку и подошел к батюшке под благословение. Панас-же стоял неподвижно. Так как батюшка размахнулся, чтоб и его благословить, то произошло маленькое недоразумение.

— Он этого не знает!—сказал Ерема.

— Подойди, мальчик, не бойся,—ласково сказал батюшка. Но Панас не двигался с места.

Тогда Ерема насильно притащил его к батюшке, и тот благословил его.

— Так тебя зовут Афанасием?—спросил батюшка. Мальчик с недоумением раскрыл глаза. Вовсе его не так зовут. Такого имени он никогда и не слышал.

— Панасом!—ответил он.

— Ну, это все равно. Афанасий или Панас—это все равно. А кто твоя мать?

— Шкура!—ответил Панас с большой уверенностью, полагая, что этим он дает самый точный ответ.

— Ты очень испорченный мальчик!—строго заметил батюшка.—Разве так можно говорить про свою мать?

Панас был поражен этим замечанием,—что же он такое сказал? Разве не вчера еще Ерема сказал то же самое, да еще два раза. Он молчал, а на глазах у него навернулись слезы.

— Это ничего, ничего!—утешил его батюшка:—мы тебя исправим! Конечно, ты, должно быть, жил в развратной среде, твоя мать, как видно, женщина порочная... Здесь ты будешь иметь хорошие примеры. Нужно только, чтобы ты сам захотел исправиться, потому что в писании сказано: «Без меня бог не может спасти меня».

Ерема сообразил, что проповедь, вероятно, затянется, а у него дома ждала работа.

— Так я уже пойду до дому!—сказал он, низко кланяясь.

Панас возвел на него умоляющий взгляд. Ему

сделалось страшно с глазу на глаз с батюшкой, который к тому же замышлял исправить его. Но Ерема не видел этого взгляда и, довольный, что его отпустили, сейчас же ушел, отбиваясь от поповских собак.

Послышалось трепетное шуршание женского платья, звук тяжелой поступи, и на пороге показалась высокая женщина, гигантского сложения, с бледным лицом, когда-то красивым, а теперь морщинистым. На ней было простое платье из темной фланели, а на голове шерстяной платок, но Панас сейчас же догадался, что это не мужичка. Это, должно быть, матушка.

— Вот, душа моя, мальчик, которого вчера вытащили из проруби! — обратился батюшка к ней, и тогда Панас окончательно понял, что это была матушка.

Матушка пристально оглядела его с ног до головы.

— Какой он несчастный! Кожа да кости... Сонька! — крикнула она.

Сонька в одно мгновение уже стояла перед нею, точно из земли выросла. Она преглупо смотрела прямо в глаза матушке.

— Там, в горнице, отыщи старые сапоги паныча, в маленькой хате висит его куртка, знаешь — с заплатой на рукаве... Да еще поищи в грязном белье парусиновые штаны; их прежде нужно заштопать. Они, правда, летние, да все же хоть что-нибудь...

А то у него вместо штанов какая-то бахрома. Вишь, отовсюду светится... Да постой еще! Что ты вертишься, словно тебя на кол посадили?.. У него и шапки тоже нет... Ну, хороша же у тебя мамка! Должно быть, таскается с солдатами, а тебя посылает милостыню канючить!.. Вишь, у него и шапка солдатская, вдвое больше его головы!.. Отыщи там панычев картуз прошлогодний... Ну мамка, — нечего сказать!.. Да и он, должно быть, сокровище. Воровать умеешь? — заключила матушка, обращаясь уже прямо к Панасу, и сама же ответила на этот вопрос:

— Еще бы не уметь! Я думаю — мамка только этим и живет!

Но это уже обидело Панаса. Он никогда не замечал, чтобы мамка занималась воровством. С солдатами таскалась—это так, а чтоб воровать—этого еще не бывало.

— Нет, мамка не ворует!—решился выговорить он.

— Ишь ты какой! Да он шустрый! Ему пальца в рот не клади!.. Только у меня ты помирнеешь!—предрекла матушка.

— Видишь, Афанасий,—мягко сказал батюшка:—ты уже теперь грубо отвечаешь матушке! Это нехорошо!

— Э-эх, — вдруг набросилась матушка на батюшку. — Афа-насий... От земли его не видно, а он А-фа-на-сий! Еще — чего доброго — Афанасий Ивано-

вич, или как там его, станешь звать?.. Тебя как по отцу-то?

— Я не знаю!..

— Ну, так и зовись Фанаськой, и все тут... Чего там еще афанасничать!..

Его отослали в конюшню, куда Сонька принесла все те предметы, о которых упоминала матушка, кроме, впрочем, сапог, которые еще не были отысканы. Здесь он стал переодеваться. В конюшне стояла тройка лошадей с очень довольными мордами и полными боками. Очевидно, их кормили хорошо. Здесь же на четырех подставках были положены доски, на них разостлана солома, прикрытая рядом, а на рядне лежал парень в ситцевой сорочке, босой, с высоко подотканными штанинами. У парня была кудрявая голова, повидимому очень мало знакомая с гребнем; эта голова бросалась в глаза своими малыми размерами, в особенности по сравнению с головой Еремы. Лицо у парня было сухое, неподвижное, на нем не было ровно никакого выражения; серые глаза казались сонными. Парень, увидев Панаса, ухмыльнулся.

— Это тебя вчера вытащил Яшка? — хихикая, спросил он.

— Меня! — отвечал Панас.

— Так ты будешь жить тут? — продолжал парень и опять захихикал.

— Буду.

— Ну, ладно! Зададут тебе перцу!

После этой фразы парень залился хохотом, но каким-то тихим, прерывистым. Панас вздрогнул от этого смеха. Это был Степка-дурачок, служивший у батюшки без жалованья, за хлеб.

Из конюшни Панас вышел совершенно преобразенный. Куртка была длинновата, но, по крайней мере, цела; штаны отличались весенней легкостью, но сквозь них не «светилось». Гимназическая фуражка была почти по голове Панаса. После переодевания его отправили на кухню завтракать. Кухня помещалась отдельно от «горниц» и представляла самостоятельную постройку. Здесь собралась чрезвычайно разнообразная и несколько странная публика. Председательницей по старшинству была, без сомнения, почтенная кухарка Маланья, особа лет пятидесяти, своими размерами напоминавшая матушку, но лишенная одного глаза. Когда-то батюшка изгнал из нее лютого беса, и в благодарность за лечение она осталась у батюшки кухаркой. Рядом с нею помещался Степка, который теперь не хихикал, а вел себя очень солидно, что с ним всегда бывало во время еды. Тут же помещалась широколицая Сонька. Эта, напротив, в отсутствие матушки отличалась чрезвычайно веселым нравом и вечно показывала свои большие зубы. Очень скромно сидели два бледнолицых субъекта—это больные, приехавшие к батюшке лечиться от нечистой болезни, которую батюшка с успехом изгонял. Была тут еще Дунька, матушкина гор-

ничная, единственная прислуга у батюшки, служившая за плату. Она очень ценилась, потому что умела хорошо гладить белье, и это обстоятельство давало ей право относиться к остальной прислуге немного свысока. У нее было молодое, цветущее лицо, с массой веснушек, и здоровая, вечно колыхавшаяся грудь. Остальные были бесплатные. Кухарка Маланья—из благодарности, Сонька—по сиротству, Степка—по глупости и, наконец, только что присоединившийся Панас—по случаю того, что его вчера вытащили из проруби.

Здесь Панас узнал, во-первых, что батюшка—святой, и, во-вторых,—что матушке предназначалось угодить в ад, так как от нее никому житья нет и ни минуты отдыха; что батюшку она грызет, а он, знай себе, богу молится, и, наконец, что она скупа, как дьявол (почему-то присутствовавшие были уверены, что дьявол скуп).

Одного только Панас все-таки не узнал: какая ему предстоит роль на новом месте. Впрочем, это не заставило долго ждать себя.

IV.

Матушка принимается за воспитание Панаса.

Вечером того же дня выяснилось, что Панас будет спать в конюшне вместе со Степкой. Оказалось, что это было удобно по двум причинам. Во-первых, по-

тому, что у Степки был овчинный кожух, под которым спать было очень тепло; во-вторых, потому, что сам Степка едва успевал опуститься на доски, как уже храпел богатырским сном и всю ночь лежал, как дубина, не переменяя положения. Панас проспал эту ночь с удовольствием, но без всякого удовольствия он проснулся, когда услышал сильный стук в дверь, запертую изнутри. Сперва ему почудилось, что он в трущобе, и что Степка — это его мамка, к которой пришли солдаты. В конюшне было так же темно и холодно, как и в трущобе; в особенности явственно он почувствовал холод, когда выскочил из-под теплого кожуха. Стук повторился, но на этот раз сопровождался громким восклицанием:

— Эй, вы, лежебоки! Четвертый час! Вставайте!..

Панас узнал голос матушки.

— Я уже встал! — несмело ответил Панас.

— Ну, так ты за это молодец! — похвалила матушка. — И всегда нужно рано вставать! Разбуди же того дурня!..

Панас принялся будить дурня, но дурень только мычал, не подавая никакой надежды на пробуждение.

— Ну, что? — спросила матушка за дверью.

— Спит! — ответил Панас.

— А ты его за волосы! Тащи, сколько силы есть. Это ничего! А то он будет спать до вечера.

Панас сильно колебался. Ему еще никогда не приходилось таскать за волосы такую почтенную особу,

какой был Степка. Однако, во исполнение приказа-
ния матушки, он ухватил Степку за чуб и начал
тащить к себе с такой осторожностью, как будто
желал сделать это по секрету от Степки. Это по-
действовало.

— Караул!—закричал с просонок обладатель кудрей
и пустил такой поток отборных ругательств, что
Панас начал опасаться за его и свою жизнь, в случае
если матушка услышит.

— Тише! Матушка здесь!—прошептал Панас, и
Степка немедленно смирился и сейчас же отпер дверь
конюшни. Тогда в конюшню упал луч от фонаря, при
свете которого матушка совершала свою ночную
распорядительность; а вместе со светом в конюшню
ворвался поток свежего холода. Кони вздрогнули и
подняли уши. Внушительная фигура матушки с за-
кутанной в платок головой, с фонарем и ключами
в руках, произвела впечатление на Степку; он при-
нялся почесывать затылок с явным смирением.

— Тебе бы все спать!—нравоучительно обрати-
лась к нему матушка.—А небось, и не подумал о том,
что у коней в яслях нет ни крохи сена!..

— Чего еще им! Успеют еще нажраться! У меня
у самого еще крохи во рту не было!—с добродушной
улыбкой ответил Степка.

— Он у нас дурачок!—обратилась матушка к Па-
насу, указывая на Степку и несколько не смущаясь
его присутствием.—У него не все дома...

Степка нимало не обиделся по поводу такой рекомендации. Он сам о себе был совершенно такого же мнения.

— А ты ступай в загон: там Маланья уже подоила коров; так ты забери телят и отгони их на водопой!—обратилась матушка к Панасу,—да смотри у меня—ворон не считать! слышишь? И, обернувшись к дому, она крикнула:

— Эй, Сонька, покажи ему, где водопой.

Из комнаты вышла Сонька—распатланная и заспанная. Один глаз у нее был еще закрыт и она делала невероятные усилия, чтобы открыть его.

— Покажи ему водопой! Да смотри—не разлягся там где-нибудь под деревом.

Панас вместе с Сонькой погнал телят на водопой. Было еще совсем темно. Сонька спала на ходу, спотыкаясь на каждом шагу и рискуя вывихнуть ногу. Они дошли до крутого берега. Вниз к реке вела широкая дорога. Место показалось Панасу знакомым. Телята смело бежали вниз. Тогда и им пришлось бежать, и, благодаря этому, Сонька совсем очнулась.

— Чтоб ее чорт подрал с ее телятами!—промолвила она.

— Чего ты ругаешься?—спросил Панас.

— Погоди, ты еще не так будешь... Никогда не даст выспаться, ведьма долговязая...

— О-го! Как ты ее!..—удивился Панас.

— А то как же?—мрачно продолжала Сонька.— С того дня, как я живу у нее, я еще ни разу не высыпалась... Вот так и ходишь все, точно угорелая.. И на какой только чорт она меня взяла?

— А ты где была прежде? У мамки?

— Гм... у мамки!.. Никакой у меня мамки не было. Я жила в городе, в приюте... Там много детей живет. Меня туда подкинули, когда была еще маленькой. Там все такие. Там я и выросла. А они взяли меня на воспитание...

В это время они уже спустились к реке. Стало светать. Панас увидел себя на том месте берега, откуда вчера он сделал первый шаг на лед. Вон посреди реки та самая прорубь, в которой он болтался. Она стала уже примерзать. Сонька вздумала «скользаться». Телята уж давно напились, но Сонька увлеклась и не выказала желания спешить. Наконец, они поднялись на гору.

— Задаст же она мне,—совершенно равнодушно сказала Сонька.—Все косы оборвет!..

— Отчего у тебя такая широкая морда? — вдруг спросил Панас.

— Такую бог дал... А тебе завидно?..

Этим окончился их разговор для первого знакомства. Соньке действительно «задали», т. е. просто оттащали ее за волосы, но она, как привычная, вынесла это хладнокровно. Панасу заметили, чтоб он в другой раз не засиживался.

— Ты их не слушай! Ни Соньки, ни Степки, никого—слышишь? Только меня слушай!

Ему дали в руки метлу, и он принялся выметать двор к празднику. Тут он сделал еще одно знакомство. Барбос, бегавший на цепи и все утро ворчавший на него, вдруг почувствовал к нему нежность и стал вилять хвостом, выражая тем свое расположение.

С этих пор у них завязалась трогательная дружба. Матушка возилась на дворе с птицей. Сонька бегала, как угорелая, выполняя ее приказания, а Панас мел и мел до тех пор, пока у него не заболела спина. Тогда он остановился отдохнуть.

— Эге, хлопче! Этак ты за три дня не выметешь. Чего пристал? — заметила ему матушка, которая каким-то чудом видела одновременно все, что делалось в кухне, на огороде, в конюшне, во дворе и даже в комнатах. Панас налег на метлу. Пот лил с него градом. Он кончил.

— Теперь возьми-ка вот эту мокрую тряпку и вытри хорошенько все стекла в окнах! Приучайся ко всему!—ласково скомандовала матушка, и он, не отдыхая, принялся исполнять новое поручение.

За вытиранием стекол последовала чистка экипажа; потом мытье тарелок, затем нужно было напоить лошадей и принести им сена, потому что Степка в это время был занят починкой возка. В конце концов Панас не заметил, как прошло время до обеда,

и обедал с таким аппетитом, какой видел вчера у Еремы.

— Ну, что? понравилось? — спросили его на кухне.

Он промолчал. После обеда опять закипела работа. Панас исполнял все приказания матушки, и она одобрила его.

— С него будет толк! Будет толк! — повторяла она. — Как бы только не стал воровать по старой привычке.

После обеда Панас ходил уже в сапогах.

V.

Панас становится необходимым.

Положение Панаса в батюшкином доме постепенно определилось. Было решено, что у Панаса не будет никакой специальности. Но зато уже было трудно назвать такое дело в хозяйстве матушки, в котором не участвовал бы Панас. Спешная ли работа в кухне — Панас там вертится и, как угорелый, мчится из кухни в погреб, из погреба в ледник, на город, в комнаты, и тащит солому, муку, лед, все, что в данный момент нужно, в кухню. Случится ли так, что Степку куда-нибудь ушлют, а тут вдруг у батюшки треба, — Панас, крихтя и пыхтя, выкатывает бричку и закладывает коня. Он еле подымает дугу и не может достать рукой до лошадиной морды, чтобы зануздать ее, — это ничего: он подставляет скамейку и при помощи

ее выполняет все функции кучера, и едет с батюшкой на потребу. Была у него одна своеобразная специальность. Уж никто в батюшкином доме не осмеливался резать кур и всякую птицу. У Панаса была хорошая рука; под его ножом птица немедленно переставала жить, тогда как у других она еще долго мучилась после смертоносной операции. Он не изведal еще только одной работы. Никогда не удавалось ему состоять при Дуньке и убирать горницы, а ему очень хотелось. Особенно интересовался он батюшкиным кабинетом, как местом, где он молится. Но это было еще впереди.

Мало-по-малу Панас стал забывать о мамкиной трущобе, и мысль, что он может опять туда вернуться, казалась ему дикой, неосуществимой. Он поправился и раздобыл, и хотя не приобрел такой широкой морды, как у Соньки, тем не менее смотрел здоровым малым. Матушка была, повидимому, очень довольна Панасом. Она почти не подвергала его наказаниям, если не считать двух-трех случаев, когда у него ухо оказалось в крови. Принимая во внимание те способы, которыми матушка наставляла на путь истины Соньку, Панас ставил ни во что эти два-три случая. Сонька вечно ходила с заплаканными глазами, и это происходило оттого, что она, по своим обязанностям, постоянно вертелась «в горницах» и, таким образом, слишком часто попадалась на глаза матушки

Не прошло и четырех месяцев, как Панас обрелся на воспитании у матушки,—а он уж сделался необходимым. В особенности это обнаружилось с того времени, как началась весна, и домашняя птица занялась продолжением своего рода. Матушка никогда еще не собирала так много яиц, как в этом году, — и причиной тому был Панас. У него была какая-то особенная способность сыщика по птичьим делам, и он доставал яйца из таких потайных мест, куда даже зоркий глаз матушки ни разу не проникал. Хитрые куры, не желая рисковать своим потомством (в том смысле, что оно прежде появления на свет пойдет на яичницу), вырывали ямки среди густого колючего бурьяна, прятались вглубь скирды сена, забирались на чердак, и там вели уединенную семейную жизнь, несли яйца и собирались тайком высиживать цыплят, уверенные, что перехитрили матушку. Но Панас проникал во все эти потаенные места, накрывал злонамеренную курицу на месте преступления, отбирал у нее яйца и торжественно нес их к матушке на погреб; виновную же наказывал, обливая ее холодной водой, что для нее представлялось не только адской мукой, но и оскорблением. Вообще, по птичьему делу у него был особенный талант, поэтому ему почти бесконтрольно был поручен надзор над птицей. Но такое пустое занятие не могло, конечно, считаться специальностью, поэтому оно не лишало Панаса удовольствия помогать на кухне,

возиться с лошадьми, телятами, коровами и проч. и проч.

Матушка очень боялась, чтобы Панас не зазнался, и поэтому не только никогда не хвалила его, а, напротив, от времени до времени находила поводы обличить его в какой-нибудь неисправности и оттянуть ему ухо или чуб—в видах благодетельного поощрения к дальнейшему усовершенствованию, думая в то же время про себя: «из него выйдет золотой работник, ежели не изворуется». А что он должен извороваться—это матушке казалось неизбежным.

VI.

Новый круг обязанностей.

Из гимназии на каникулы приехал попovich. Это был бойкий, подвижной мальчик лет двенадцати, по имени Алеша, в изящно скроенном мундире, в новой кэпи, которую надевал несколько на бок, как истый франт, знающий, чем можно прельстить женское сердце. У него была недурная наружность. Умные, быстрые глазенки темного цвета выдавали зародыши сообразительности и детского лукавства. Значительно остриженные волосы (о чем он много скорбел) он ухитрялся зачесывать вверх («против шерсти»—говорила матушка), что придавало ему воинственный вид. Вообще, всем своим видом он выдавал сокровенное желание — казаться, по крайней мере, на три года старше самого себя.